

Д. САМОЙЛОВ





В новую книгу известного поэта Д. Самойлова вошли произведения, созданные им за последние годы. Многие из них были опубликованы в периодической печати. Книга разнообразна по своим мотивам: в ней — осмысление прожитого, память войны, участником которой был поэт, утверждение живой связи прошлого и настоящего.

© Издательство «Советский писатель», 1978 г.

СНЕГОПАД

Декабрь. И холода стоят
В Москве суровой и печальной.
И некий молодой солдат
В шинели куцей госпитальной
Трамвая ждет.

Его семья
В эвакуации в Сибири.
Чужие лица в их квартире.
И он свободен в целом мире.
Он в отпуску, как был и я.

Морозец звонок, как подкова.
Перефразируя Глазкова,
Трамвай, как официантки,
Когда их ждешь, то не идут.

Вдруг снег посыпал. Ключья ватки
Слетели с неба там и тут,
Потом все гуще и все чаще.
И вот солдат, как в белой чаше,
Полузасыпанный стоит
И очарованный глядит.

Был этот снег так чист и светел,
Что он сперва и не заметил,
Как женщина из-за угла
К той остановке подошла.

Вгляделся: вроде бы знакома.
Ах, у кого-то из их дома
Бывала часто до войны!
И он, тогда подросток праздный,
Тоской охваченный неясной,
За ней следил со стороны.

С ухваткой, свойственной пехоте,
Он подошел:

— Не узнаете? —

Она в ответ:

— Не узнаю.

— Я чуть не час уже стою,
И ждать трамвая безнадежно.
Я провожу вас, если можно.

— Куда?

— Да хоть на край земли.

Пошли? —

Ответила:

— Пошли.

Суровый город освежен
Был медленно летящим снегом.
И каждый дом заморожен
Его пленительным набегом.
Он тек, как легкий ровный душ,
Без звука и без напряженья
И тысячам усталых душ
Дарил покой и утешенье.

Он тек на головной платок,
И на ресницы, и на щеки.
И выбившийся завиток
Плыл, как цветок, в его потоке.

Притихший молодой солдат
За спутницей следил украдкой,
За этой выбившейся прядкой,
Так украшавшей снегопад.

Была ль она красива? Сразу
О том не мог бы я сказать,
Конечно, моему рассказу
Красавица была б под стати!
Она была обыкновенной,
Но с той чертою дерзновенной,
Какую могут обрести
Лет где-то возле тридцати
Иные женщины.

В них есть
Смешенье скромности и риска.
Беспечность молодости близко,
Но зрелости слышнее весть.
Рот бледный и немного грубый.
Зато как ровный жемчуг зубы.
И затаенная душа
В ее зрачках жила стыдливо.
Она не то чтобы красива
Была, но просто хороша.
Во всяком случае, солдату
Она казалась таковой,
Когда кругом была объята
Летучей сетью снеговой.

(Легко влюблялись мы когда-то,
Вернувшись в тыл с передовой.)

Я бы еще сказал о ней.
Но женщины военных дней
В ту пору были не воспеты,
Поскольку новые поэты
Не научились воспевать,
А не устали воевать.
Кое-кого из их числа
Уже навеки приняла
Земля под сень своих просторов:
Кульчицкий, Коган и Майоров,
Смоленский, Лебский и Лапшин,
Борис Рождественский, Суворов —
В чинах сержантов и старшин
Или не выше лейтенантов —
Созвездье молодых талантов,
Им всем по двадцать с небольшим...

Шли по Палихе, по Лесной,
Потом свернули на Миусы.
А там уж снег пошел сплошной,
Он начал городить турусы
И даже застил свет дневной.

— Я здесь живу. А вам куда?
— Мне никуда. Но не беда —
Переночую на вокзале.
А там!.. Ведь есть же города,
Куда доходят поезда...—
Они неловко помолчали.

— А можно к вам? —

Сказала:

— Да,

Прошли заснеженным двором.
Стряхнули снег. Вошли вдвоем
В ее продрогшую каморку.
— Сейчас мы печку разожжем,—
Сказала. И его восторгу
Пришел конец. Так холодна
Была каморка и бедна.

Но вскоре от буржуйки дымной
Пошло желанное тепло.
В окне, скрывая город зимний,
Лепились хлопья на стекло.
Какая радость в дни войны
Отъединиться от погоды,
Когда над вами не вольны
Лихие прихоти природы!
(Кто помнит: стужа, и окоп,
И ветер в бок, и пуля в лоб.)

Он отвернулся от окна,
От города, от снегопада
И к ней приблизился.

— Не надо,—

Сказала. Сделалась бледна.
Он отступился. Вот досада!
Спросила:

— Как вас звать? —

Сказал.

— А вас как? —

Отвечала:

— Клава.

В окне легко и величаво
Варился зимний снежный бал.
Кружила вьюга в темпе вальса,
Снег падал и опять взвивался.

Смеркалось. Светомаскировку
Она спустила. Подала
Картошку. И полулитровку
Достала. В рюмки разлила.

Отделены от бури снежной
Бумажной шторкою ночной,
Они внимали гул печной.
И долго речью безмятежной
Их убажрал печной огонь.
Он в руки взял ее ладонь.

Он говорил ей:

— Я люблю вас,

Люблю, быть может, навсегда.
За мной война, печаль и юность.

А там — туманная звезда.—

Он говорил ей:

— Я не лгу,

Вы мне поверьте, бога ради,
Что, встреченную в снегопаде,
Вас вдруг оставить не могу!..

Такой безвкусицей банальной,
Где подлинности был налет,

Любой солдатик госпитальный
Мог растопить сердечный лед.

Его несло. Она внимала,
Руки из рук не отнимала.
И, кажется, не понимала,
Кто перед ней. И поняла.
И вдруг за шею обняла
И в лоб его поцеловала.
Он к ней подался. К ней прильнул.
Лицом уткнулся ей в колени.
И, как хмельной, в одно мгновенье
Уснул... Как так?.. Да так — уснул.
Вояка, балагур, гусар
Спал от усталости, от водки,
От теплоты, от женских чар.
И его руки были кротки.
Лежал, лицо в колени пряча,
Худой, беспомощный — до плача.
Подумала: куда в метель?
И отвела его в постель.

Проснулся. Женское тепло
Почувствовал в постели смятой.
Протер глаза. Был час десятый.
И на дворе еще мело.

Записка: «Я вернусь к пяти,
Если захочешь, оставайся».

Кружилась вьюга в темпе вальса.
Успела за ночь замести
Она Тверские и Ямские

И все проезды городские,
Все перепутала пути.
С пургой морозы полегчали,
И молодой солдат в печали
Решал — уйти иль не уйти?..

Да и меня в иное время
Печаль внезапно проняла
О том, что женщина ушла
И не появится в поэме.
Хотел бы я ее вернуть,
Опять идти под снегопадом...
Как я хотел бы с нею рядом
В тот переулок завернуть!

Как бы хотел, шагая с ней,
Залюбоваться снегом, жестом,
Вернуть и холод этих дней
И рот, искусанный блаженством...

Я постарел, а ты все та же.
И ты в любом моем пейзаже —
Свет неба или свет воды.
И нет тебя, и всюду ты.

Что я мечтал изобразить?
Не знаю сам. Как жизни нить
Непрочная двоих связала,
Чтоб скоро их разъединить?
Нет, этого, пожалуй, мало.
Важней всего здесь снегопад,
Которым с головы до пят
Москва солдата обнимала.

Летел, летел прекрасный снег,
Струился без отдохновенья
И оставался в нас навек,
Как музыка и вдохновенье...

Учусь писать у русской прозы,
Влюблен в ее просторный слог,
Чтобы потом, как речь сквозь слезы,
Я сам в стихи пробиться мог.

1975

* * *

В. Б.

И ветра вольный горн,
И речь вечерних волн,
И месяца свеченье,
Как только стали в стих,
Приобрели значенье.
А так — кто ведал их!

И смутный мой рассказ,
И весть о нас двоих,
И верное реченье,
Как только станут в стих,
Приобретут значенье.
А так — кто б знал о нас!

* * *

Город ночью прост и вечен.
Светит трепетный неон.
Где-то над Замоскворечьем
Низкий месяц наклонен.

Где-то новые районы,
Непечатые снега.
Там лишь месяц наклоненный
И не видно ни следа,

Ни прохожих. Спит столица,
В снег уткнувшись головой,
Окольцована, как птица,
Автострадой кольцевой.

* * *

Ветры пятнадцатых этажей
Не похожи на ветры,
Плутающие по изворотам
Двухэтажных улиц.
В них нет ропота листьев,
Посвиста заборных прогалов,
Шепота слуховых окон,
Гуда печных труб.
Они дуют ровно и сильно
И кажутся гулом вселенной,
Особенно ночью.

НА ОКРАИНЕ

Парк в предутреннем беспорядке
Из волос вытряхает сор.
Пахнет снег огуречной кадкой,
Подтекает, словно рассол.

А весна идет ветровая,
Сыроватая, как белье,
Под стеклянный бубен трамвая
Продувающая жильё.

Да, видать, окончилась спячка,
И орет себе в синеве
Петушок горластый, как прачка.
Есть еще петух на Москве!

Развеселый, лихой, горластый,
Рябоперый и огневой,
Будь что будет — живи и здравствуй!
Пой, петух, покуда живой!

* * *

Не торопи пережитого,
Утаивай его от глаз.
Для посторонних глухо слово
И утомителен рассказ.

А ежели назреет очень
И сдерживаться тяжело,
Скажи, как будто между прочим
И не с тобой произошло.

А ночью слушай — дождь лопочет
Под водосточною трубой,
И, как безумная, хохочет
И плачет память над тобой.

* * *

Кто двигал нашею рукой,
Когда ложились на бумаге
Полузабытые слова?
Кто отнимал у нас покой,
Когда от мыслей, как от браги,
Закруживалась голова?
Кто пробудил ручей в овраге,
Сначала слышимый едва,
И кто внушил ему отваги,
Чтобы бежать и стать рекой?..

* * *

Не оставляйте письма
Для будущих веков.
Ужасно любопытство
Дотошных знатоков!

И что они узнают,
И что они поймут,
Когда они не знают,
Как на земле живут!

Они как бы заслоном
Отделены от глаз,
И все равно за словом
Не угадают нас.

Пусть весело сгорает
В печи досужий труд,
Пусть вьюги заиграют
И пепел унесут...

* * *

Вдруг странный стих во мне рождается,
Я не могу его поймать.
Какие-то слова и лица.
И время тает или длится.
Нет! Невозможно научиться
Себя и ближних понимать!

* * *

Мне снился сон жестокий
Про новую любовь.
Томительно и нежно
Звучавшие слова.
Я видел твоё платье,
И туфли, и чулки
И даже голос слышал.
Но не видал лица.

О чём меня просила?
Не помню. Повтори.
Опять с такой же силой
Со мной заговори.
И снова в сновиденье
Случайное вернись.
Не надо завершенья,
Но только повтори!

Ведь в этой жизни смутной,
Которой я живу,
Ты только сон минутный,
А после, наяву —

Не счастье, не страданье,
Не сила, не вина,
А только ожиданье
Томительного сна.

* * *

Круг любви распался вдруг.
День какой-то полупьяный.
У рябины окаянной
Покраснели кисти рук.

Не маши мне, не маши,
Окаянная рябина!
Мне на свете все едино,
Коль распался круг души.

* * *

Чет или нечет?
Вьюга ночная.
Музыка лечит.
Шуберт. Восьмая.

Правда ль, нелепый
Маленький Шуберт,—
Музыка — лекарь?
Музыка губит.

Снежная скатерть.
Мука без края.
Музыка насмерть.
Вьюга ночная.

* * *

Возвращаюсь к тебе, дорогая,
К твоим милым и легким словам.
На пороге, меня обнимая,
Дашь ты волю свободным слезам.

— Ах,— ты скажешь,— как времени много
Миновало! Какие дела!
Неужели так долго дорога,
Милый мой, тебя к дому вела!

Не отвечу, к тебе припадая,
Ибо правды тебе не скажу.
Возвращаюсь к тебе, дорогая,
У тебя на пороге лежу.

Нам остается жить надеждой и любовью,
Не заносясь, не горячась,
И не прислушиваться к суесловью
Радеющих о нас.

Мы будем жить пустой надеждой,
Глотку любви и доброты, рады
И слушать о себе издевку злобой правды,
Которая ужасней клеветы.

* * *

Я учился языку у няnek,
У молочниц, у зеленщика,
У купчихи, приносившей пряник
Из арбатского особнячка.

А теперь мне у кого учиться?
Не у няnek и зеленщика —
У тебя, моя ночная птица,
У тебя, бессонная тоска.

* * *

Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного,
Но если можно бы сначала
Жизнь эту вымолить у бога,
Хотелось бы, чтоб было снова
Упущенных побед немало,
Одержанных побед немного.

ПОДРОСТОК

Подросток! Как по нежному лекалу
Прочерчен шеи робкий поворот.
И первому чекану и закалу
Еще подвергнут не был этот рот.

В ней красота не обрела решенья,
А истина не отлилась в слова.
В ней лишь мольба, и дар, и приношенье.
И утра свет. И неба синева.

* * *

Выспалось дитя. Развеселилось.
Ляльки-погремушки стало брать.
Рассмеялось и разговорилось.
Вот ему какая благодать!

А когда деревья черной ратью
Стали тихо отходить во тьму,
Испугалось. Страшно быть дитятью!
Поскорей бы возрастать ему!

* * *

Для себя, а не для другого
Я тебя произвел на свет...
Произвел для грозного бога —
Сам ты будешь держать ответ.

Ты и радость, ты и страданье,
И любовь моя — малый Петр.
Из тебя ночное рыданье
Колыбельные слезы пьет.

* * *

Выйти из дому при ветре,
По непогоде выйти.
Тучи и рощи рассветны
Перед началом событий.

Холодно. Вольно. Бесстрашно.
Ветрено. Холодно. Вольно.
Льется рассветное брашно.
Я отстрадал — и довольно!

Выйти из дому при ветре
И поклониться отчизне.
Надо готовиться к смерти
Так, как готовятся к жизни...

* * *

Наверное, слишком уверенно
Считаю, что прожил не зря.
Так думает старое дерево,
Роняя в конце октября
Веселые желтые листья
И зорям на память даря.



Отгремели грозы.
Завершился год.
Превращаюсь в прозу,
Как вода — в лед.

АРМЕНИЯ

Здесь Арарата древнее господство
Доносит из пастушеских времен
Мычанье и свирели скотоводства
И ремесла жужжание и звон.

Здесь так вверху напряжено пространство,
Что ночью слышно натяженье струн.
В миниатюрах раннего христианства
Иуда глуп, розовощек и юн.

Страдашья разоренных вилайетов,
Забытые уже в иных местах,
До сей поры рождают у поэтов
Грозу в глазах и песню на устах.

* * *

А слово — не орудье мести! Нет!
И, может, даже не бальзам на раны.
Оно подтачивает корень драмы,
Разоблачает скрытый в ней сюжет.

Сюжет не тот, чьи нити в монологе,
Который знойно сотрясает зал.
А слово то, которое в итоге
Суфлер забыл и ты не подсказал.



Вот и все. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их. И все разрешено.

РЕЦЕНЗИЯ

Все есть в стихах — и вкус, и слово,
И чувства верная основа,

И стиль, и смысл, и ход, и троп,
И мысль изложена не в лоб.

Все есть в стихах — и то и это,
Но только нет судьбы поэта,

Судьбы, которой обречен,
За что поэтом наречен.

* * *

Стихи читаю Соколова —
Не часто, редко, иногда.
Там незаносчивое слово,
В котором тайная беда.

И хочется, как чару к чаре,
К его плечу подать плечо —
И от родства, и от печали,
Бог знает от чего еще!..

* * *

Чем более живу, тем более беспечной
Мне кажется луна и время быстротечней,
Томительнее страсть, острее боль обид,
Понятнее поэт Мартынов Леонид.

А больше ничего я здесь не понимаю,
Хоть вслушиваюсь в даль и целый день внимаю,
И всматриваюсь в шум, и слышу свет и тень,
И вижу звук и гул, и слепну каждый день.



Л. Л.

Чем, собственно, живопись хуже?
В ней, может быть, даже точней
Видение леса, и стужи,
И синих следов от саней.

Но все же она не соперник
Окну, где весь день за стеклом
Бытуют осинник и ельник,
И снег, и седой бурелом.

И можно ль соперничать разве
С тем воображеньем моим,
Где сила и разнообразье
Потворствуют воздуху зим!

* * *

Поэзия пусть отстаёт .
От просторечья —
И не на день, и не на год —
На полстолетья.

За это время отпадет
Все то, что лживо.
И в грудь поэзии падет
Все то, что живо.

СТИХИ О ДЕЛЬВИГЕ

I

Дельвиг... Леня... Младая дева...
Утро... Слабая метель...
Выплывает из напева
Детской елки канитель.

Засыпай, окутан ленью.
В окнах — снега белизна.
Для труда и размышленья
Старость грубая нужна.

И к чему, на самом деле,
Нам тревожить ход времен!
Белокурые метели...
Дельвиг... Дева... Сладкий сон...

II

Две жизни не прожить.
А эту, что дана,
Не все равно — тянуть
длиннее иль короче?

Закуривай табак,
налей себе вина,
Поверь бессоннице
и сочиняй полночи.

Нет-нет, не зря
хранится идеал,
Принадлежащий поколенью!..
О Дельвиг,
ты достиг такого ленью,
Чего трудом
не каждый достигал!

И в этом, может быть,
итог
Почти полвека,
нами прожитого,—
Промолвить Дельвигу
доверенное слово
И завязать шейной платок.

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Чадаев, помнишь ли бывшее?

А. Пушкин

Наконец я познал свободу.
Все равно, какую погоду
За окном предвещает ночь.

Дом по крышу снегом укутан.
И каким-то новым уютом
Овевает его метель.

Спят все чада мои и други.
Где-то спят лесные пичуги.
Красногорские рощи спят.

Анна спит. Ее сновиденья
Так ясны, что слышится пенье
И разумный их разговор.

Молодой поэт Улялюмов
Сел писать. Потом, передумав,
Тоже спит — ладонь под щекой.

Словом, спят все шумы и звуки,
Губы, головы, щеки, руки,
Облака, сады и снега.

Спят каминьы, соборы, псалмы,
Спят шандалы, как написал бы
Замечательный лирик Н.

Спят все чада мои и други.
Хорошо, что юные вьюги
К нам летят из дальней округи,
Как стеклянные бубенцы.

Было, видно, около часа.
Кто-то вдруг ко мне постучался.
Незнакомец стоял в дверях.

Он вошел, похож на Алеко.
Где-то этого человека
Я встречал. А может быть — нет.

Я услышал: всхлипнула тройка
Бубенцами. Звякнула бойко
И опять унеслась в снега.

Я сказал: — Прощу! Ради бога!
Не трудна ли была дорога? —
Он ответил: — Ах, пустяки!

И не надо думать о чуде.
Ведь напрасно делятся люди
На усопших и на живых.

Мне забавно времен смешенье.
Ведь любое наше свершенье
Независимо от времен.

Я ответил: — Может, вы правы,
Но сильнее нету отравы,
Чем привязанность к бытию.

Мы уже дошли до буколик,
Ибо путь наш был слишком горек,
И ужасен с временем спор.

Но есть дней и садов здоровье,
И поэтому я с любовью
Размышляю о том, что есть.

Ничего не прошу у века,
Кроме звания человека,
А бессмертье и так дано.

Если речь идет лишь об этом,
То не стоило быть поэтом.
Жаль, что это мне суждено.

Он ответил: — Да, хорошо вам
Жить при этом мненье готовом,
Не познав сумы и тюрьмы.

Неужели возврат к истокам
Может в этом веке жестоком
Напоить сердца и умы?

Не напрасно ли мы возносим
Силу песен; мудрость ремесел,

Старых празднеств брагу и сыть?
Я не ведаю, как нам быть.

Длилась ночь, пока мы молчали.
Наконец вдали прокричали
Предрассветные петухи.

Гость мой спал, утопая в кресле.
Спали степи, разъезды, рельсы,
Дымы, улицы и дома.

Улялюмов на жестком ложе
Прошептал, терзаясь: — О, боже! —
И добавил: — Ах, пустяки!

Наконец, сновиденья Анны
Задремали, стали туманны,
Растеклись по глади реки.

СТАРИК

П. А.

Удобная, теплая шкура — старик.
А что там внутри, в старике?
Вояка, лукавец, болтун, озорник
Запрян в его парике.

В кругу молодых, под улыбку юнца,
Дурачится, дьявол хромой.
А то и задремлет, хлебнувши винца.
А то и уедет домой.

Там, старческой страсти скрывая накал,
Он пишет последний дневник.
И часто вина подливает в бокал —
Вояка, мудрец, озорник.

* * *

Надо себя сжечь
И превратиться в речь.

Сжечь себя дотла,
Чтоб только речь жгла.

* * *

Д. К.

Кто устоял в сей жизни трудной,
Тому трубы не страшен судной
Звук безнадежный и нагой.
Вся наша жизнь — самосожженье,
Но сладко медленное тленье
И страшен жертвенный огонь...

ОКРУЖЕНЕЦ

Выскочил из окружения.
Ушел.
Бежал, задыхаясь, захлебываясь,
Чуя спиной отдаление выстрелов.
И вдруг неизвестно как выплутал
К знакомым кочарникам.
Там стояли стога прошлогоднего сена.

Упал под стог болотного сена.
Перестрелка суматошила слева,
Постепенно
Отдаляясь.
Долго дышал, отдыхал, принимая в сознание
То, что было вокруг: стальной холод осенней
ночи,
Стога сена и звезды неба.
Звезд было густо. Метеориты
Трассировали беззвучными очередями.

Он лежал на спине.

Кто видел ночные стога, тот знает,
Что они порождают чувство движения к небу,
Что грузно втекают в звезды,
Придавая им запах увядающих трав.

Со стогов не кажется страшной вселенная,
Потому что в них можно угреться,
И движение к небу ощущать, как движение к
дому.

Он проехал в уме тряским кочкарником,
Потом чистым округлым кустарником ближних
делянок.

У сенного навеса,
Круто развернув передок,
Плечом поднажал и вывернул воз.
Но оттуда домой не поехал,
Ибо дома себя не увидел.

Лежал, привалившись к стогу.
Звезды чиркали с неба.
Бой смещался к востоку.
Артиллерия была слева.

Он это сено косил прошлым годом.
Бабы во время покоса пахнут просушенным
потом,
Жаром и соком пьяной болотницы.

Теперь он прошел в уме
Задами, по тропке — к избе.
Но в дверь не вошел,
Потому что опять дома себя не увидел.

Лежал, привалившись к стогу,
Бой смещался к востоку

Когда шли к фронту, навстречу гнали стада.
По обочине шли пастухи,
Завернувшись в кнуты, словно в скатки.

Старый бык неумело
Волочил за собою телегу,
Свое грузное тело
Унося от набега.
А потом авиация налетела...

Тот, кто лежал в стогу осенней травы,
Знает, как далеко до рассвета
Ночь наклоняется к утру,
Как, словно без ветра,
Дуновение пробегает в осиннике.

Лежал, привалившись к стогу.

Бой смещался к востоку.

А под Вязьмой грозный гуд.
Это наши в бой идут!

Закричала сова.
А-а!

ЦЫГАНОВЫ

1. Запев

Конь взвился на дыбы,
но Цыганов
Его сдержал, повиснув на узде.
Огромный конь, коричневато-красный,
Смирясь, ярился под рукою властной.
Мохнатоногий, густогривый конь
Сердился и готов был взвиться снова.
Хозяин хохотал. А Цыганова,
Хозяйка, полногруда и крепка,
Смеялась белозубо с расписного
Крыльца, держа ягненка-сосунка.
А Цыганов уже надел хомут
И жеребца поставил меж оглобель.
И сам он был курчав, силен, огромен.
Все было мощно и огромно тут:
И солнце, и телега, и петух,
И посреди двора дубовый комель.
И Цыганов поехал со двора.
А Цыганова собрала дрова
И в дом пошла.

И сразу опустело,
Когда исчезли три могучих тела —

И полотенце свежие холсты
Узором взор и сердце улажали.
— Хозяйка, выпей! — крикнул Цыганов.
Он туговат был на ухо.

Хмельного
Он налил три стакана. Цыганова
В персты сосуд граненый приняла
И выпила. Тут посреди стола
Вознесся борщ. И был разлит по мискам.
Поверхность благородного борща
Переливалась тяжко, как парча,
Мешая красный отблеск с золотистым.
Картошка плавилась в сковороде.
Вновь желтым самоцветом три стакана
Наполнились. Шипучий квас из жбана
Излился с потным пенистым дымком.
Яичница, как восьмиглазый филин,
Серчала в сале. Стол был изобилен.
А тут — блины! С гречишным же блином
Шутить не стоит! Выпить под него —
Святое дело. Так и порешили.
И повторили вскоре. Не спешили,
Однако время шло.

Чтоб подымить,
Окно открыли. Двое пацанов
Соседских с всем бились на кулачки.
По яблоку им кинул Цыганов,
Прицкнув: — Нате вот и не варначьте! —
Тут наконец хозяйка рядом с мужем
Присела. Байки слушала она
Мужские — кто где ранен, где контужен.
Но снова два соседских пацана
Затеяли возню...

Уже смеркалось.

Тележным осям осень откликалась.
Но в каждом звуке зрела тишина.
Гость чокнулся с хозяйкой: — Будь здорова!
— Будь! — крикнул Цыганов.

А Цыганова

Печально отвернулась от окна.

3. Рождение сына

Ребенка нес отец. А Цыганова
Была еще бледна и рядом шла.
Ребенок в стеганое одеяльце
Из голубого шелка был одет,
Перепоясан лентой с пышным бантом.
И чуть распахивался, обнаружив
Тугую пену белоснежных кружев.
Оркестра не хватало. Музыкантом
Был только ветер — полевой флейтист.
Он в поле разливал свой ровный свист.
Так Цыганов, казавшийся гигантом
Над низким горизонтом, шел с женой
И нес ребенка позднею весной.

На полевой дороге колеи
Еще хранили форму ранней грязи.
Но было сухо. Рыжие слои
Напоминали про однообразие
Распутицы.

Пот лил ручьем со лба
Отцовского, когда взошли на взлобок.
Там перед ними свежий куст был робок.
Но пел. И поле пело, как труба.
И вся округа перед Цыгановым
Каким-то звуком наполнялась новым
И новым цветом для него цвела.

Он сына нес в атласном одеяльце,
И Цыганова каменные пальцы
Природа вся разжать бы не могла.

Он нес младенца в голубых обновах,
Как продолженье старых Цыгановых
И как начало Цыгановых новых,
Он нес начало будущих веков,
Родоначальника полубогов.
Среди пеленок, кружев, одеялец
Лежал их дома новый постоялец.
И Цыганов глядел при этом вниз,
Чтоб незаметно было, как лились
Из глаз его безудержные слезы...

Остановились около березы.
На валуне присели отдохнуть.
И Цыганова отворила грудь.
Тут он увидел сына. Он не знал,
Что так младенец немощен и мал.
Он только понял, что за это тело
Он все бы отдал, чем душа владела,
И то свершил, чего не совершал.
Но вдруг ребенок сморщил свой носишко
И раз чихнул.

— Чихать умеет, вишь-ко, —
Промолвил с уважением отец.
— А как же звать его? Сережка, Мишка? —
«И впрямь, как звать его?» — подумал он.
«И почему же каждое созданье
Не знает, каково его названье.
Зачем на свете тысячи имен?
И странно, что приобретаешь имя,
Которое придумано другими.
А сам бы как назвал себя?»

Трудна

Была та мысль его про имена.
Он бросил думать и сказал:

— Жена,

Пусть сын наш будет Павел.—

И она,

Чуть улыбнувшись, отвечала: — Ладно.—

Они всегда ведь с мужем жили ладно. :

И вот они пришли домой. И в люльку
Плетеную ребенка положили,
Чтоб он там спал покуда день и ночь,
Пока пробрезжит свет в его глазах
И первый смысл его коснется слуха.
А впрямь ли так он нем, и слеп, и глух?
Молчал отец. Жена дитя качала.
И это тоже было лишь начало.

4. Колка дров

С женой дрова пилили. А колоть
Он сам любил. Но тут нужна не сила,
А вольный взмах. Чтобы заголосила
Березы многозвончатая плоть.
Воскресный день. Сентябрьский холодок.
Достал колун. Пиджак с себя совлек.
Приладился. Попробовал. За хатой
Тугое эхо екнуло: ок-ок!
И начал. Вздых, и взмах, и зык, и звон.
Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат

Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвел он
И молнию и громовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя вносило
К деревьям — густолистным облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям — облакам темно-зеленым,
К их шумным и могучим сквознякам.
Он также знал: во время колки дров
Под вдох и взмах как будто думать легче.
Был истым тугодумом Цыганов,
И мысль не споро прилегала к речи.
Какой-нибудь бродячий анекдот
Ворочался на дне его рассудка.
Простейшего сюжета поворот
Мешал ему понять, что это шутка.
«У Карапета теща померла...»
(Как вроде у меня; а ведь была
Хорошая старуха.) «Он с поминок
Идет...»

(У бабы-то была печаль.

Иду, а вечер желтый, словно чай.
А в небе — галки стаями чайнок.)
«И вдруг ему на голову — кирпич.
Он говорит: «Она уже на небе!»
(Однако, это вроде наш Кузьмич.
Да только на того свалились слуги,
Когда у тещи в пасху был хмелен...)
Тут Цыганов захохотал. И клен,
Который возрастал вблизи сарая,
Шарахнулся. И листьев легион
Взлетел. И встрепенулась птичья стая.
И были смех, и вдох, и зык, и звон.

— Что увидал? — сходя с крыльца резного,
Хозяина спросила Цыганова.

— Да анекдот услышал однова́.
Давай, хозяйка, складывать дрова.

5. Смерть Цыганова

Под утро снился Цыганову конь.
Приснился Орлик. И его купанье.
И круп коня, и грива, и дыханье,
И фырганье — все было полыханье.
Конь вынесся на берег и в огонь
Зари помчался, вырвавшись из рук
Хозяина. Навстречу два огня
Друг к другу мчались — солнца и коня.
И Цыганов проснулся тяжело.
Открыл глаза. Ему в груди пекло.
Он выпил квасу, но не отлегло.
Пождал и понял: что-то с ним не так.
Сказал:

— Хозяйка, нынче я хвораю.—

С трудом оделся и пошел к сараю.
А там, в сарае, у него — лежак,
Где он любил болеть.

Кряхтя прилег
И папироску медленно зажег.
И начал думать. Начал почему-то
Про смерть: «А что такое жизнь — минута.
А смерть навеки — на века веков.
Зачем живем, зачем коней купаем,
Торопимся и все не успеваем?
И вот у всех людей удел таков».
И думал Цыганов:

«Зачем я жил?

Зачем я этой жизнью дорожил?
Зачем работал, не жалея жил?
Зачем дрова рубил, коней любил?
Зачем я пил, гулял, зачем дружил?
Зачем, когда так скоро песня спета?
Зачем?»

И он не находил ответа.

Вошла хозяйка:

— Как тебе? —

А он:

— Печет в груди.— И рассказал ей сон.

Она сказала:

— Лошади ко лжи.

Ты побольше сегодня, полежи.—

Ушла. А он все думал:

«Как же это?

Зачем я жил? Зачем был молодой?

Зачем учился у отца и деда?

Зачем женился, строился, копил?

Зачем я хлеб свой ел и воду пил?

И сына породил — зачем все это?

Зачем тогда земля, зачем планета?

Зачем?»

И он не находил ответа.

Был день. И в щели старого сарая

Пробилось солнце, на полу играя,

Сарай еще был пуст до Петрова́.

И думал он:

«Зачем растет трава?

Зачем дожди идут, гудят ветра?

А осенью зачем шумит листва?

И снег зачем? Зачем зима и лето?

Зачем?»

И он не находил ответа.

В нем что-то стало таять, как свеча.
Вошла хозяйка.

— Не позвать врача?
— Я сам помру,— ответил ей,— ступай-ка,
Понадобится — позову, хозяйка.—
И вновь стал думать.

Солнце с высоты
Меж тем сошло. Дохнуло влажной тенью.
«Неужто только ради красоты
Живет за поколеньем поколенья —
И лишь она не поддается тленью?
И лишь она бессмысленно играет
В беспечных проявлениях естества?..»
И вот, такие обретя слова,
Вдруг понял Цыганов, что умирает...
...Когда под утро умер Цыганов,
Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов;
И ветер вдруг в свои ударил бубны,
И клены были сумрачны и трубны.
Вскричал петух. Пастух погнал коров.
И поднялась заря из-за яров —
И разлился по белу свету свет.
Ему глаза закрыла Цыганова,
А после села возле Цыганова
И прошептала:

— Жалко, бога нет.

Писал возвышенным пером
Про славный подвиг генерала...
Писал...

Кругом огни привала
Дымились. Осень простирала
Свои печальные поля.
И ветер в гренадерских соснах
Гудел, как в мачтах корабля...

Откуда было знать ему,
Поклоннику чужого слога,
Что приведет его дорога
В Москву, и дальше, за Москву,
Через леса, через болота,
Пургой продутые насквозь,
Где воспитанье патриота
Недавно только началось!

Пиши, герой!
Пари, поручик,
Подобно легкому перу,
Пусть совесть будет твой попутчик
В бою, в Париже, на пиру.

И может быть, в том декабре
В рядах мятежного каре
Ты будешь стынуть на Сенатской.
И там направишь пистолет
На боевого генерала,
Героя прежних юных лет.
Но та десница, что карала
Врага, вдруг дрогнет... Странный век!
Ты пистолет уронишь в снег.

Пиши, пиши! Сверкай очами!
Поет походная труба,
Дымят костры... А за плечами
России грозная судьба.

МАРКИТАНТ

Фердинанд, сын Фердинанда,
Из утрехтских Фердинандов
Был при войске Бонапарта
Маркитант из маркитантов.

Впереди гремят тамбуры,
Трубачи глядят сурово.
Позади плетутся фуры
Маркитанта полкового.

Предок полулегендарный,
Блудный отпрыск ювелира
Понял, что нельзя бездарней
Жить, не познавая мира.

Не караты, а кареты.
Уйма герцогов и свиты.
Офицеры разодеты.
Рядовые крепко сшиты.

Бонапарт короны дарит
И печет свои победы.
Фердинанд печет и жарит
Офицерские обеды.

Бонапарт диктует венским,
И берлинским, и саксонским.
Фердинанд торгует рейнским,
И туринским, и бургонским.

Бонапарт идет за Неман,
Что весьма неблагородно.
Фердинанд девицу Нейман
Умыкает из-под Гродно.

Русский дух, зима ли, бог ли
Бонапарта покарали.
На обломанной оглобле
Фердинанд сидит в печали.

Вьюга пляшет круговую.
Снег валит в пустую фуру.
Ах, порой в себе я чую
Фердинандову натуру!..

Я не склонен к аксельбантам,
Не мечтаю о геройстве.
Я б хотел быть маркитантом
При огромном свежем войске.

СТАРЫЙ ДОН ЖУАН

Убогая комната в трактире.

ДОН ЖУАН. Чума! Холера!
Треск, гитара-мандолина!
Каталина!

КАТАЛИНА.

(Входит.) Что вам, кабальеро?

ДОН ЖУАН. Не знает — что мне!
Подойди, чума, холера!
Раз на дню о хвором вспомни,
Погляди, как он страдает!
Дай мне руку!

КАТАЛИНА.

Ну вас, старый кабальеро.

(Каталина убегает.)

ДОН ЖУАН. Постой!.. Сбежала,
Внучка Евы, род злодейский,
Чтобы юного нахала
Ублажать в углу лакейской!
Где мой блеск, где бал насущный
Ежедневных наслаждений!
А теперь девчонки скучной
Домогаюсь, бедный гений.
Зеркало! Ну что за рожа!

Кудрей словно кот наплакал.
Нет зубов. Обвисла кожа.
(Зеркало роняет на пол.)
Вовремя сойти со сцены
Не желаем, не умеем.
Все Венеры и Елены
Изменяют нам с лаксем.
Видимость важнее сути,
Ибо нет другой приманки
Для великосветской суки
И для пиццей оборванки.
Старость хуже, чем увечье.
Довело меня до точки
Страшное противоречье
Существа и оболочки...
Жить на этом свете стоит
Только в молодости. Даже
Если беден, глуп, нестойк,
Старость — ничего нет гажел
Господи! Убей сначала
Наши страсти, наши жажды!
Неужели смерти мало,
Что ты нас караешь дважды?
Юный дух! Страстей порывы!
Ненасытные желанья!
Почему еще вы живы
На пороге умиранья!..
Неужели так, без спора,
Кончилась моя карьера?..
Каталина! Каталина!
(Входит Череп Командора.)
ЧЕР Е П. Здравствуй, кабальеро!
Сорок лет в песке и прахе
Я валялся в бездорожье...

ДОН ЖУАН (отпрянув в страхе.)
Мать божья! Мать божья!
Кто ты?
ЧЕРЕП. Помнишь Анну?
ДОН ЖУАН. Какая Анна?
Ах, не та ли из Толедо?
Ах, не та ли из Гренады?
Или та, что постоянно
Распевала серенады?
Помню, как мы с ней певали
В эти дивные недели!
Как она теперь? Жива ли?
Ах, о чем я, в самом деле!..
Что-то там с ее супругом
Приключилось ненароком.
Не о том ли ты с намеком?
Череп, я к твоим услугам.
ЧЕРЕП. Я не за расплатой.
Судит пусть тебя предвечный.
Расплатился ты утратой
Юности своей беспечной.
Старый череп Командора,
Я пришел злорадства ради,
Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем мы в одной ограде;
Ибо скоро, очень скоро,
Ляжем рано средь тумана —
Старый череп Командора,
Старый череп Дон Жуана.
ДОН ЖУАН (смеясь.) Всего лишь!
Мстишь за старую интрижку?
Или впрямь ты мне мирволишь?
Иль пугаешь, как мальчишку?
Мне не страшно. На дуэли

Мог я согнуть для забавы.
А теперь скрипят, как двери,
Старые мои суставы...
ЧЕРЕП. Смерть принять — не шлюху
Обнимать. А ты, презренный,
Ничего не отдал духу,
Все ты отдал жизни тленной.
ДОН ЖУАН. Я жизни тленной
Отдал все. И сей блаженный
Сон мне будет легче пуху.
Ни о чем жалеть не стоит,
Ни о чем не стоит помнить...
ЧЕРЕП. Крот могилу роет...
Собирайся. Скоро полночь.
ДОН ЖУАН. Я все растратил,
Что дано мне было богом.
А теперь пойдем, приятель,
Ляжем в логове убогом.
И не будем медлить боле!..
Но скажи мне, Череп, что там —
За углом, за поворотом,
Там — за гранью?..
ЧЕРЕП. Что там?
Тьма без времени и воли...

БРЕЙГЕЛЬ

Картина

Мария была курчава.
Толстые губы припухли.
Она дитя качала,
Помешивая угли.

Потрескавшейся, смуглой
Рукой в ночное время
Помешивала угли.
Так было в Вифлееме.

Шли пастухи от стада,
Между собой говорили:
— Зайти, узнать бы надо,
Что там в доме Марии?

Вошли. В дыре для дыма
Одна звезда горела.
Мария была нелюдима.
Сидела, ребенка грела.

И старший воскликнул: — Мальчик! —
И благословил ее сына.

И, помолившись, младший
Дал ей хлеба и сыра.

И поднял третий старец
Родившееся чадо.
И пел, что новый агнец
Явился среди стада.

Да минет его голод,
Не минет его достаток.
Пусть век его будет долог,
А час скончания краток.

И желтыми угольками
Глядели на них бараны,
Как двигали кадыками
И бороды задирали.

И, сотворив заклинанье,
Сказали: — Откроем вены
Баранам, свершим закланье,
Да будут благословенны!

Сказала хрипло: — Баранов
Зовут Шошуа и Мадох.
И богу я не отдам их,
А также ягнят и маток.

— Как знаешь, — они отвечали, —
Гляди, не накликай печали!.. —
Шли, головами качали
И пожимали плечами.

ПОЗДНЕЕ ЛЕТО

Вы меня берегите, подмосковные срубы,
Деревянные ульи медового лета.
Я люблю этих сосен гудящие струны
И парного тумана душистое млеко.

Чем унять теребящую горечь рябины,
Этот вяжущий вкус предосеннего сока.
И смородинных листьев непреборимый
Запах? Чувствуют — им увядать недалеко.

Промелькнет паутинка, как первая проседь,
Прокричит на сосне одинокая птица.
И пора уже прозу презренную бросить,
Заодно от поэзии освободиться.

* * *

Не увижу уже Красногорских лесов,
Разве только случайно.
И знакомой кукушки, ее ежедневных
часов

Не услышу звучанья.

Потянуло меня на балтийский прибой,
Ближе к хладному морю.
Я уже не владею своею судьбой
И с чужою не спору.

Это бледное море, куда так влекло
россиян,

Я его принимаю.
Я приехал туда, где шумит океан,
И под шум засыпаю.

* * *

В Пярну легкие снега.
Так свободно и счастливо!
Ни одна еще нога
Не ступала вдоль залива.

Быстрый лыжник пробежит
Синей вспышкой мгновенной.
А у моря снег лежит
Свежим берегом вселенной.

* * *

Пройти вдоль нашего квартала,
Где из тяжелого металла
Излиты снежные кусты,
Как при рождественском гаданье.
Зачем печаль? Зачем страданье?
Когда так много красоты!

Но внешний мир — он так же хрупок,
Как мир души. И стоит лишь
Невольный совершить проступок:
Встряхни — и ветку оголишь.

РАССВЕТ В ПЯРНУ

Светает поздно. К девяти.
И долог этот час светанья,
Где начинается свет расти
И намечаться очертанья.

Сначала исподволь, едва,
В предместье, в пригороде, где-то
Чуть отступает синева
От городского силуэта.

Потом деревья и дома
Все четче на темно-лиловом.
Оказывается — зима,
Пора бы снегу и сугробам.

Прохожие. Пробег машин.
На городских часах — десятый.
А в парке посреди вершин
Ночь спит вороною лохматой.

Но, кажется, произошло
Высвечиванье перспективы.
Оказывается — светло.
Оказывается — мы живы.

* * *

Красота пустынной рощи
И ноябрьский слабый свет —
Ничего на свете проще
И мучительнее нет.

Так недвижны, углубленны
Среди этой немоты
Сосен грубые колонны,
Вязов нежные персты.

Но под ветром встрепенется
Нетекучая вода...
Скоро время распадется
На «сейчас» и «никогда».

* * *

Когда-нибудь и мы расскажем,
Как мы живем иным пейзажем,
Где море озаряет нас,
Где пишет на песке, как гений,
Волна следы своих волнений
И вдруг стирает, осердясь.

* * *

И жалко всех и вся. И жалко
Закушенного полушалка,
Когда одна, вдоль дюн, бегом —
Душа — несчастная гречанка...
А перед ней взлетает чайка.
И больше никого кругом.

* * *

Деревья прянули от моря,
Как я хочу бежать от горя —
Хочу бежать, но не могу,
Ведь корни держат на бегу.

* * *

И что еще за странная привычка —
Прилипчивое это бытие,
Истлевшее, как фосфорная спичка,
Уже совсем как будто не мое.

И все же мы живем, подозревая
В себе наличие океанских сил.
И все же — может, вывезет кривая
И поплыву, куда еще не плыл.

* * *

И вот однажды ночью
Я вышел. Пело море.
Деревья тоже пели.
Я шел без всякой цели.
Каким-то тайным звуком
Я был в ту пору позван.
И к облакам и звездам
Я шел без всякой цели.
Я слышал, как кипели
В садах большие липы.
Я шел без всякой цели
Вдоль луга и вдоль моря.
Я шел без всякой цели,
И мне казались странны
Текучие туманы.
И спали карусели.
Я шел без всякой цели
Вдоль детских развлечений —
Качелей, каруселей,
Вдоль луга и вдоль моря,
Я шел в толпе видений,
Я шел без всякой цели.

* * *

Когда замрут на зиму
Растения в садах,
То невообразимо,
Что превратишься в прах.

Ведь можно жить при снеге,
При холоде зимы.
Как голые побеги,
Лишь замираем мы.

И очень долго снится —
Не годы, а века —
Морозная ресница
И юная щека.

СОН О ГАННИБАЛЕ

Однажды на балтийском берегу,
Когда волна негромко набегала,
Привиделся мне образ Ганнибала.
Я от него забыться не могу.
Все это правда и подобье сна,
И мой возврат в иные времена.

— Чего Россия нам не посылала —
Живой арап! — так, встретив Ганнибала,
Ему дивился городок Пернов.
Для этих мест он был больших чинов.
Сей африканец и поэта прадед
Напрасно, говорили, слов не тратит,
А чуть чего — пускает в дело трость.
За это в нем предполагали злость.

Портреты Ганнибала мало схожи
С оригиналом — только смуглость кожи,
Но живость черт, огонь, сокрытый в нем,
И острый ум — не вышли ни в одном.
Глаза как пара черных виноградин,
Походкой мягок и фигурой ладен,
Во цвете лет мужских, не слаб, не хвор.
И по военной табели — майор.
Заслугами, умом и сердцем храбрым
Он сходен был с Венецианским мавром.

Но не Венеция — увы! — Пернов,
Для африканца климат здесь суров.
И вообще арап в России редок,
Особенно такого внука предок!

При нем — жена. Гречанка. Дочь Эллады,
А может быть, Леванта. Мы бы рады
Назвать ее красавицей. Когда б
Приехал с Афродитою арап,
Сюжет у нас пошел бы без задорин
И был бы слишком ясен и бесспорен.
Но с самого начала вышел сбой.
Дочь грека-моряка, она собой
Была нехороша. Слегка раскоса,
Бледна, худа, черна и длинноноса.
Но, видно, все же что-то было в ней.
Арап ее любил. Ему видней.
Он явно снисходил к ее порокам,
Поскольку греки ближе к эфиопам.

В ту пору швед, преодолев разброд,
На нас напасть готовил мощный флот.
И положили русские стратеги,
Чтоб вражеские отвратить набег
И на предмет закрытия путей,
Усилить ряд приморских крепостей.
Взял знаменитый граф фельдмаршал Миних
Заботу на себя о тех твердыхнях.
И для устройства крепости Пернов
Им послан был майор Абрам Петров.

Весь день он пропадал на бастионах
И занимался устройством оных.
И, в увлечении взойдя на вал,
Он обо всем другом позабывал.
Фортификацию воображеньем
Он дополнял. И к будущим сраженьям

Готовил бастионы и валы.
Он инженер был выше похвалы.
Честолюбивый русский абиссинец
Готовил шведам дорогой гостинец,
Ведь он недаром наименовал
Себя Абрам Петрович Ганнибал.
А может быть, и впрямь в него запало,
Что род его идет от Ганнибала.

Погряз в трудах арап полуопальный.
Супруга же весь день томилась в спальней
И грезила лениво наяву,
Вспоминая детство и халву.
Она скучала. Городок степенный
Ее стеснял тоскою постепенной.
Всего две тыщи душ, да гарнизон.
Конечно, в этой скуке был резон.
Ее не тешил моря свет жемчужный,
Ей снился берег дальний, город южный,
И пена белая край синих вод,
И уходящий в море галиот.
Он звал к себе и уходил все дальше
Перед печальным взором Ганнибальши.
Добро бы муж хоть вечером домой.
А он едва увидится с женой
В обед — и снова не до разговоров.
Преподавал он в школе кондукторов
Черченье, математику. И там
Все время проводил по вечерам.
А шел домой — хотя в Пернове летом
Почти не видно ночи, но при этом
На улицах ни звука, ни души —
Весь город спит. И дивно хороши
Вверху деревья, крыши, шпили, трубы.
А дома спит жена, надувши губы,

В себе младенца бережно растя,
Да и сама похожа на дитя —
С плеча сползает теплая перина...
Майор читал трагедии Расина.

В той школе, где преподавал арап,
Состав учеников был слишком слаб.
Не помнили, что дважды два — четыре,
А только куролесили в трактире.
Один среди развратных молодцов
Науку понимал Иван Норцов,
С налету схватывал, толково, споро
И потому стал слабостью майора.
Для назидания Абрам Петров
Рассказывал ему про век Петров
И был пленен способным шалопаем.
И тот был в дом все чаще приглашаем.
Над ним посмеивались, что дурак.
И, дескать, у арапа он арап.
Майор же, честолюбье в нем питая,
Нередко выручал праздношатая.
К примеру — следствие завел кригсрехт
О том, что кондуктёр вовлек во грех
Девицу Моор. И она же девица
Клялась, что обещал на ней жениться.
Майор вступился. Хоть закон был строг,
Но суд есть суд. И найден был предлог.
И в результате учинить велели
Норцову наказание на теле
И тем покончить. Но обрел майор
Врага — мамашу Моршу — с этих пор.
В ту осень Евдокия разрешилась
От бремени. И, как сие свершилось,
Пустою бочкой покатился слух,
Как будто точно узнано от слуг,

Что родился на свет ребенок белый.
Над этим потешался город целый.
А Морша суетилась пуще всех.
Ребенок же был смуглый, как орех.
И, презирая сплетни городские,
Майор назвал и дочку — Евдокия.
Про слух он знал. Но был спесив и горд.
И лишь послал в Коллегию рапорт,
Прояс отставки по болезни очной,
Но вскоре был ответ получен срочный —
Отказ. Повелено ему служить
И, следовательно, в Пернове жить.

А дело в том, что Миних-граф близ трона
Тогда стоял. И, зная нрав Бирона,
Считал, что бывший царский фаворит,
Как нынче говорится, погорит,
Коль будет на глазах у новой власти.
Пожалуй, он был в этом прав отчасти...
И лучше уж томиться от страстей,
Чем пострадать безвинно от властей.

Майор же был взбешен. В Пернове этом
Бесмысленных наветов быть предметом!
И знал, что зря, — смирить себя не мог.
И в горле день и ночь стоял комок.
Он стал искать намеки в каждом слове
И не умел унять арапской крови.
Входил к жене в покой. Смотрел дитя.
И удалялся пять минут спустя.
Его проклятое воображенье
Рождало боль, похожую на жженье.
И злобный случай подстерег его.

Случилось это все под рождество,
Когда в стрельчатых храмах лютеране
Поют свои молитвы при органе.

Абрам Петрович заглянул во храм.
И слушать службу оставался там.
Тем временем к майору на квартиру
Забрел Норцов, шатаясь без мундиру,
Не помня, как вошел туда хмельной.
И встал перед майоровой женой.
В постели та застыла от испуга,
Но вдруг слышались шаги супруга.
Вошел майор. Норцова обнял страх.
И он сбежал. Она вскричала: «Ах!»
Абрам Петрович, помолчав с минуту,
Промолвил: «Так!» И, повернувшись круто,
Прошел к себе. В недоброй тишине
Весь замер дом. И он вбежал к жене.
Гречанка закричала. Так был шал
И страшен муж. Он тяжело дышал,
Сюртук расстегнут, а в руке нагайка.
Он произнес сквозь зубы: «Негодяйка!» —
И наотмашь ударил по лицу,
Подставленному гневу и свинцу.
Бил долго, дико, слепо. И сначала
Она кричала. После замолчала.
Тут он очнулся. И, лишившись сил,
Мучительно и хрипло спросил:
«Теперь ответствуй мне, была ль измена?»
Она прикрыла голое колено
И, утомясь от боли и стыда,
Кровь сплюнула и отвечала: «Да!»
Ее теперь нездешняя усталость
Вдруг обуяла. Умереть мечталось.
И молвила ему — как пулю в лоб:
«Убей меня, проклятый эфиоп!
Я никогда твоей не буду боле.
И отдаю себя господней воле!»

Всю ночь не спал арап. Унявши страсть,
Он был готов теперь ей в ноги пасть.
Но век не тот! Там нравы были круты,
А честь и гордость тяжелей, чем путы.
Свой кабинет он запер изнутри
И пил вино без просыпу дня три,—
Российский способ избывать печали.
И сам молчал. И все в дому молчали.
В нем все смешалось — подозренье, гнев,
Раскаянье, любовь. Как пленный лев,
Весь день метался в узком помещенье
Меж мыслями о мщенье и прощенье.
И вдруг пришел к жене. Сказал ей: «Ты
Меня презрела из-за черноты.
Но мне как на духу ответь — что было?
И правда ли, что ты мне изменила?»
И снова, так же твердо, как тогда,
Ему гречанка отвечала: «Да!»
И вновь ушел арап. И пил вино.
Забросил службу. Затемнил окно.
И тосковал. Кругом зима стояла.
В каминах пело, в деревьях стонало.
Ненастная тогда была зима.
Ему казалось, что сойдет с ума.
Так пребывал он в городе Пернове,
Тоскуя, злясь и мучась от любви.
А в школе кондуктѳров без начальства
Уже творилось полное охальство.
Иван Норцов в компании гульной
Хвалился, что с майоровой женой.
Он то да се, довел ее до ручки.
И не боится он столичной штучки...
То слышал Фабер, тоже кондуктѳр
И новый кавалер девицы Моор.

И вскоре рассказал мамаше Морше,
Что, мол, Иван, любезный друг майорши,
Поддавшись увещаниям ее,
Достал для негра смертное питье.
Конечно, он добавил, что Ивану
И не такое приходило спьяну,
Поскольку меж вралей он первый враль...

Прошел январь. За ним настал февраль.
Вдруг утром солнце глянуло. Невольно
Майор очнулся и сказал: «Довольно!
Солдат не баба. Вдруг и донесут,
Что я давно бездельничаю тут.
Неужто, государя друг вчерашний,
Не справлюсь я со смутою домашней!»
Надел мундир. И сразу же — на вал,
На полверках и верках побывал.
Распек команду. Обозвал: «Растяпы!»
И пошутил. Отходчивы арапы.
В трактире отобедал. К пирогам
Стаканчик выкушал. По Куннингам
Пошел в почти хорошем настроенье,
Свое позабывая нестроенье.
И вдруг — навстречу Морша. Ах, карга!
Вот ты когда подстерегла врага
И в ухо яд влила ему, радея
О мщении. Он слушал холодея.
Вот здесь бы занавес. Но я не мог
Не написать печальный эпилог,
Как Ганнибал ответил дикой мезью
Своей жене за мнимое бесчестье.
И как она перед лицом суда
На все вопросы отвечала: «Да!»
«Да!.. Опить? Да! Прелюбодеянье?
Да!»

«Сквернодеицу за все деянья
И за злоумышления гонять
По городу лозой, потом послать
Навечно на прядильный двор». Такое
Решенье подписало полковое
Судилище. И так учинено.
Здесь ничего мной не сочинено.

О Ганнибал! Где ум и благородство!
Так поступить с гречанкой!.. Или просто
Сошелся с диким нравом дикий нрав?
А может статья, вовсе я неправ,
И случай этот был весьма банальный,
И был рогат арап полуопальный?
Мне все равно. Гречанку жаль. И я
Ни женщине, ни веку не судья...

А что потом? Потом проходит бред,
Но к прошлому уже возврата нет.
Всходили в небе звезды Ганнибала,
Гречанка же безвестно погибала,
Покуда через двадцать лет Синод
Ей не назначил схиму и развод.

Арапа бедный правнук! Ты не мстил,
А, полон жара, холодно простил .
Весь этот мир в часы телесной муки,
Весь этот мир, готовясь с ним к разлуке.
А Ганнибал не гений, потому
Прощать весь мир несвойственно ему,
Но дальше жить и накапливать начаток
Высоких сил в российских арапчатах.
Ну что ж. Мы дети вечности и дня,
Грядущего и прошлого родня...

Бывает, что от мыслей нет житья,
Разыгрывается воображенье,

Тогда, как бы двух душ отображенье,
Несчастную гречанку вижу я,
Бегущую вдоль длинного причала,
И на валу фигуру Ганнибала.
А в небесах луны латунный круг.
И никого. И бурный век вокруг.

*Пярку,
1977*

СТРУФИАН,

недостоверная повесть

1

А где-то, говорят, в Сахаре,
Нашел рисунки Питер Пэн:
Подобные скафандрам хари
И усики вроде антенн,
А может — маленькие роги.
(Возможно — духи или боги, —
Писал профессор Ольдерогге.)

2

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Многообразные тревоги
Томили русского царя,
От неустройства и досад

Он выходил в осенний сад
Для совершенья моциона,
Где кроны пели исступленно
И собирался снегопад.
Я, впрочем, не был в том саду
И точно ведать не могу,
Как ветры веяли морские
В том достопамятном году.
Есть документы, дневники,
Но верным фактам вопреки
Есть данные кое-какие.
А эти данные гласят
(И в них загадка для потомства),
Что более ста лет назад
В одной заимке возле Томска
Жил некий старец непростой,
Феодором он прозывался.
Лев Николаевич Толстой
Весьма им интересовался.
О старце шел в народе слух,
Что, не в пример земным владыкам,
Царь Александр покинул вдруг
Дворец и власть, семейный круг
И поселился в месте диком.

Мне жаль всегда таких легенд!
В них запечатлено движенье
Народного воображения.
Увы! всему опроверженье —
Один престранный документ,
Оставшийся по смерти старца:
Так называемая «тайна» —
Листы бумаги в виде лент,
На них — цифирь, и может статья,
Расставленная не случайно.

Один знакомый программист
Искал загадку той цифри
И сообщил: «Понятен смысл
Ее, как дважды два — четыре.
Слова — «а крыют струфиан» —
Являются ключом разгадки».
И излагал — в каком порядке
И как случилось, что царя
С отшельником сошлись дороги...

3

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Топталось море, словно гурт,
Захватывало дух от гула.
Но почему-то в Петербург
Царя нисколько не тянуло.
Себе внимая, Александр
Испытывал рождение чувства,
Похожего на этот сад,
Где было сумрачно и пусто.
Пейзаж осенний был под стать
Его душевному бессилью.
— Но кто же будет за Россию
Перед всевышним отвечать?
Неужто братец Николай,
Который хуже Константина...
А Миша груб и шлопай!..—
Какая грустная картина!..—
Темнел от мыслей царский лик
И делался mélancolique.
— Уход от власти — страшный шаг.

В России трудны перемены...
И небывалые измены
Сужают душный свой кушак...
Одиннадцатого числа
Царь принял тайного посла.
То прибыл унтер-офицер
Шервуд, ему открывший цель
И деятельность тайных обществ.
— О да! Уже не только ропщут! —
Он шел, вдыхая горький яд
И дух осеннего убранства.
— Цвет гвардии и цвет дворянства!
А знают ли, чего хотят?..
Но я им, впрочем, не судья...
У нас цари, цареубийцы
Не знают меж собой границы
И мрут от одного питья...
Ужасно за своим плечом
Все время чуют тень злодея...
Быть жертвою иль палачом...—
Он обернулся, холодея.
Смеркалось. Облачно, туманно
Над Таганрогом. И тогда
Подумал император:
— Странно,
Что в небе светится звезда...

4

— Звезда? А может, божий знак? —
На небо глянув, думал Федор
Кузьмин. Он пробрался обходом
К ограде царского жилья.

И вслушивался в полумрак.
Он родом был донской казак.
На Бонапарта шел походом.
Потом торговлей в Таганроге
Он пробавлялся год за годом,
И вдруг затосковал о боге
И перестал курить табак.
Торговлю бросил. Слобожанам
Внушал Кузьмин невольный страх.
Он жил в домишке деревянном
Близ моря на семи ветрах.
Уж не бесовское ли дело
Творилось в доме Кузьмича,
Где часто за полночь горела
В окошке тусклая свеча!
Кузьмин писал. А что писал
И для чего — никто не знал.
А он, под вечный хруст прибора,
Склонясь над стопкою бумаг,
Который год писал: «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье,
Которое, как откровенье,
Писал задумчивый казак.
И для того стоял сейчас
Близ императорского дома,
Где было все ему знакомо —
Любой проход и каждый лаз —
Феодор неприметной тенью,
Чтоб государю в ноги пасть,
Дабы осуществила власть
«Намеренье об исправленье».

Поскольку не был сей трактат
 Вручен (читайте нашу повесть),
 Мы суть его изложим, то есть
 Представим несколько цитат.

«На нас, как ядовитый чад,
 Европа насылает ересь.
 И на Руси не станет через
 Сто лет следа от наших чад.
 Не будет девы с коромыслом,
 Не будет молодца с сохой.
 Восторжествует дух сухой,
 Несовместимый с русским смыслом.
 И эта духа сухота

Убьет все промыслы, ремесла;
 Во всей России не найдется
 Ни колеса, ни хомута.
 Дабы России не остаться
 Без колеса и хомута,
 Необходимо наше царство
 В глухие увести места —
 В Сибирь, на Север, на Восток,
 Оставив за Москвой заслоны,
 Как некогда увел пророк
 Народ в предел пезаселенный».

«Необходимы также меры
 Для возвращенья старой веры.
 В никонианстве есть порок,
 Который суть — замах вселенский.
 Руси сибирской, деревенской
 Пойти сие не может в прок».

В провинции любых времен
 Есть свой уездный Сен-Симон.

Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.
И вот настал высокий час
Вручения царю прожекта.
Кузьмин вздохнул и, помолясь,
Просунул тело в узкий лаз.

6

Дом, где располагался царь,
А вместе с ним императрица,
Напоминал собою ларь,
Как в описаньях говорится,
И выходил его фасад
На небольшой фруктовый сад.
От моря дальнобойный гул
Был слышен — волны набегали.
Гвардеец, взяв на караул,
Стоял в дверях и не дыхнул.
В покоях свечи зажигали.
Барон Иван Иванович Дибич
Глядел из кабинета в сад,
Стараясь в сумерках увидеть,
Идет ли к дому Александр.
А государь замедлил шаг,
Увидев в небе звездный знак.
Кузьмин шел прямо на него,
Готовый сразу падать ниц.
Прошу запомнить: таково
Расположенье было лиц —
Гвардеец, Дибич, государь

И Федор, обыватель местный,—
Когда послышался удар
И вдруг разлился свет небесный.
 Был непонятен и внезапен
Зеленоватый свет. Его,
Биясь как сердце, источало
Неведомое существо
Или скорее вещество,
Которое в тот миг упало
С негромким звуком, вроде «пах!»,
Напоминавшее колпак
Или, точнее, полушарье,
Чуть сплюснутое по бокам,
Производившее шуршанье,
Подобно легким сквознякам.
Оно держалось на лучах,
Как бы на тысяче ресничин.
В нем свет то вспыхивал, то чах,
И звук, напоминавший «пах!»,
Был страшноват и непривычен.
 И в том полупрозрачном теле
Уродцы странные сидели.
Как мог потом поклясться Федор,
На головах у тех уродов
Торчали небольшие рожки.
Пока же, как это постичь
Не зная, завопил Кузьмич
И рухнул посреди дорожки.
Он видел в сорока шагах,
Как это чудо, разгораясь,
Вдруг поднялось на двух ногах
И встало, словно птица страус.
И тут уж Федор пал в туман,
Шепча: «Крылатый струфиан...»

В окно все это видел Дибич,
Но не успел из дому выбежать.
А выбежав, увидел — пуст
И дик был сад. И пал без чувств...
Очнулся. На часах гвардейца
Хватил удар. И он был мертв.
Неподалеку был простерт
Свидетель чуда иль злодейства,
А может быть, и сам злодей.
А больше не было людей.
И понял Дибич, сад обшаря,
Что не хватало государя.

7

Был Дибич умный генерал
И голову не потерял.
Кузьмин с пристрастьем был допрошен
И в каземат тюремный брошен,
Где бредил словом «струфиан».
Елизавете Алексевне
Последовало донесенье,
Там слез был целый океан.
Потом с фельдъегерем в столицу
Послали экстренный доклад
О том, что августейший брат
Изволил как бы... испариться.
И Николай, великий князь,
Смут или слухов убоясь,
Велел словами манифеста
Оповестить, что царь усоп.
Гвардейца положили в гроб
На императорское место.

А что Кузьмин? Куда девался
 Истории свидетель той,
 Которым интересовался
 Лев Николаевич Толстой?

Лет на десять забыт в тюрьме,
 Он в полном здравье и уме
 Был выпущен и плетью бит.
 И вновь лет на десять забыт.
 Потом возник уже в Сибири,
 Жил на заимке у купца,
 Храня секрет своей цифири.
 И привлекать умел сердца.
 Подозревали в нем царя,
 Что бросил царские чертоги.

Дул сильный ветер в Таганроге,
 Обычный в пору ноября.
 Он через степи и леса
 Летел, как весть, летел на север
 Через Москву. И снег он сеял.
 И тут декабрь уж начался.
 А ветер вдоль Невы-реки
 По гладким льдам свистал сурово.
 Подбадривали Трубецкого
 Лейб-гвардии бунтовщики.
 Попыхивал морозец хватский,
 Морскую трубочку куря.
 Попахивало на Сенатской
 Четырнадцатым декабря.

10

**А неопознанный предмет
Летел себе среди комет.**

1974

СОДЕРЖАНИЕ

Снегопад	3
«И ветра вольный горн...»	12
«Город ночью прост и вечен...»	13
«Ветры пятнадцатых этажей...»	14
На окраине	15
«Не торопи пережитого...»	16
«Кто двигал нашу рукой...»	17
«Не оставляйте письма...»	18
«Вдруг странный стих во мне родится...»	19
«Мне снился сон жестокий...»	20
«Круг любви распался вдруг...»	22
«Чет или нечет?...»	23
«Возвращаюсь к тебе, дорогая...»	24
«Нам остается жить надеждой и любовью...»	25
«Я учился языку у нянек...»	26
«Упущенных побед немало...»	27
Подросток	28
«Выспалось дитя...»	29
«Для себя, а не для другого...»	30
«Выйти из дома при ветре...»	31
«Наверное, слишком уверенно...»	32
«Отгремели грозы...»	33

Армения	34
«А слово --- не орудье мести! Нет!..»	35
«Вот и все. Смежили очи генин...»	36
Рецензия	37
«Стихи читаю Соколова...»	38
«Чем более живу, тем более беспечной...»	39
«Чем, собственно, живопись хуже?..»	40
«Поэзия пусть отстаёт...»	41
Стихи о Дельвиге	
I. «Дельвиг... Ленъ... Младая дева...»	42
II. «Две жизни не прожить...»	42
Ночной гость	44
Старик	48
«Надо себя сжечь...»	49
«Кто устоял в сей жизни трудной...»	50
Окруженец	51
Цыгановы	
1. Запев	54
2. Гость у Цыгановых	55
3. Рождение сына	57
4. Колка дров	59
5. Смерть Цыганова	61
Дневник	64
Маркитант	67
Старый Дон Жуан	69
Брейгель. <i>Картина</i>	73
Позднее лето	75
«Не увижу уже Красногорских лесов...»	76
«В Пяру легкие снега...»	77
«Пройти вдоль нашего квартала...»	78
Рассвет в Пяру	79
«Красота пустынной рощи...»	80
«Когда-нибудь и мы расскажем...»	81
«И жалко всех и вся. И жалко...»	82

«Деревья прынули от моря...»	83
«И что еще за странная привычка...»	84
«И вот однажды ночью...»	85
«Когда замрут на зиму...»	86
Сон о Ганнибале	87
Струфиан, недостоверная повесть	97

Давид Самойлович Самойлов

ВЕСТЬ

М., «Советский писатель», 1978, 112 стр.
План выпуска 1978 г. № 180.

Художник В. В. Локшин
Редактор В. С. Фогельсон
Худож. редактор В. В. Медведев
Техн. редактор Ф. Г. Шапиро
Корректор В. Е. Борапенкова

ИБ № 1334

Сдано в набор 30/VIII 1977 г. Подписано к печати 16/XII 1977 г. А09624. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печ. л. 3,5. Усл. печ. л. 4,9. Уч.-изд. л. 3,13. Тираж 50 000 экз. Заказ № 745. Цена 30 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

30 коп.

